**ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН**

*(Из цикла «Простые люди»)*

**Остановка**

Господи, сколько же я здесь не был? Лет сорок? Я совсем другой, а тут все по-прежнему. Только деревья стали повыше, а стволы их потолще, а дорога, что была проезжей, теперь брошена, и поворотный круг – конечная автобуса 3 «а» – почти зарос полынью и крапивой.
И что это нас тянет в места, связанные с детством, словно убийцу на место преступления? К этим дворам, скамейкам и сиреневым купинам за облезлыми штакетниками, к этим тропинкам, среди миллионов следов которых давно стерлись наши следы; никто и ничто нас здесь не помнит и не ждет, но память никак не желает смириться с потерей.

…Автобус останавливался, заставив качнуться плотно стоящий народ, замирал у таблички «Остановка», и двери с шипеньем удава открывались. Если кондуктором была Матрёновна – полусумасшедшая пожилая тётка, – пассажиров ждало небольшое развлечение: Матрёновна бросалась открывать автоматические двери руками, поскольку всю жизнь работала на старых автобусах, в которых двери за специальный рычаг должен был открывать кондуктор. И сколько ей ни объясняли, что двери теперь открываются сами, она все равно бросалась их раздвигать, и тужилась, и сердилась: вот, сволочь, тугие какие!

Если пойти вот этой совсем ветхой асфальтовой дорожкой, придешь к реке. В реку и сейчас смотрится старая колокольня. Правда, теперь вместо телеантенны над ней крест, а неподалеку вместо зеленых финских домиков среди сосен поднялись над зелеными кронами красные многоэтажки. А если идти в противоположную сторону, придешь к синему штакетнику детского садика, куда, собственно говоря, и водил меня каждое утро отец… Ни детского садика, ни тем более штакетника теперь нет. Все-таки меняемся не только мы, но и те места, что казались нам когда-то незыблемо вечными.

«Санька, на какую букву начинается слово «остановка»? На «О».
А почему же на табличке написано «А»? Действительно, почему? Дурак, потому, что «автобус», вот почему! А-а…»

Табличка совсем заржавела, краска мелкими струпьями кудрявилась кое-где по жестяной плоскости, но при желании все еще можно было разглядеть неверные очертания большой буквы «А». Прямо от посадочной площадки в лес уходила живописная тропинка, над которой шатром смыкались ветви кленов, тополей и лип. Оттуда пахло сырой травой, мхом, ежами и еще чем-то таинственно неведомым, там сквозь мягкий прибой листвы под ветром свиристели невидимые птицы.
И мне все время хотелось туда, в этот зеленый призрачный сумрак, но отец упрямо вел меня мимо тропинки, мимо окраинных финских домиков, к знакомому синему штакетнику детского сада…

– И вот она, эта женщина, вышла с девочкой из автобуса и пошла не по тротуару, а в лес…

Я сижу в зарослях сирени под ограждением веранды: ребятишки играют на площадке – кто с мячом, кто с куклами, двое мальчишек ссорятся из-за большого зеленого экскаватора, а на меня нашла блажь забиться в укромное местечко и помечтать. К нашей воспитательнице пришла воспитательница из соседней группы, и они, опершись на перила веранды и поглядывая каждая за своими, не замечая меня, азартно шепчутся громким полушепотом.

– А шофер еще обратил внимание, чего это она с утра в лес, если и детский садик в другую сторону, и речка в другую, а в лесу ни грибов, ни ягод. Да и девочка маленькая совсем еще.

– Ну, и…

– Ну, и решил постоять. Конечно, график, и нагоняй мог получить, но вот, видимо, предчувствие у него какое-то…

– Ну, ну…

– Ну, смотрит, а она вся не своя, возвращается одна, садится в автобус с вытаращенными глазами и сидит, как мумия.

– А шофер?

– А шофер выскочил из кабины да как побежит в лес по тропке-то; смотрит, а там… – мне становится холодно в моей июльской сирени. – А там девочка-то и висит на дереве повешенная!

– Боженьки ж вы мои!

– Но он ее успел снять, пока она еще не до самой смерти задохлась. Легонькая, шейку-то ей не до конца затянуло…

– Я бы этой злыдне все зенки повыцарапала – родное дитя повесить! Это что ж за времена настали…

– Нагуляла она девочку-то безмужняя, вот, говорит, люди вокруг, родня попреками и довели. Говорит, и сама отравиться потом хотела. Правда, и таблетки какие-то при ней вроде бы нашли. А девочка в милиции и говорит: мама, мол, веревочку на шейку повязала, играть, говорит, будем, а сама пропала…

– Да-а-а…

Я сидел в кустах под верандой ни жив ни мертв, оглушенный свистящим дуэтом воспитательниц, и постепенно начинал понимать о мире что-то другое, чего не знал до сих пор; что-то большое, грозное и не-
умолимое. Наверное, я впервые почувствовал, насколько беззащитен и одинок на свете человек, если даже родная мама может…

У стояка, к которому крепилась табличка остановки, прямо через отверстие большого колесного диска, врытого вместо станины, проросла рябина, может быть, поэтому ржавое железо, спрятанное в ее листве, и уцелело от исчезновения в недрах «цветмета». Асфальт тротуаров тут и там пробила всесильная зелень, от поветшавших, но сохранившихся еще финских домиков доносился собачий лай. В плотной стене зелени не было даже намека на живописную тропинку, уводившую когда-то мое воображение в лесной рай с ежами, папоротниками и неведомыми птицами. А ветер по-прежнему шумит и шумит в плотной листве, как шумел сорок лет назад, и будет шуметь через сорок лет после моей смерти, когда не только о детском садике, об этой пропавшей тропинке, о девочке и ее несчастной матери, но и обо мне самом-то некому будет вспомнить…

**Алёшенька**

– Да-а-а, Москва – это вам не наша глушь, там культура, – после первой-второй рюмки разговор всегда заходил о столице. И начинал этот разговор старший брат. – Одна архитектура чего стоит! Я уж не говорю о театрах. Когда мы с Анастасией в прошлом году ездили в Сочи, на два дня специально задержались в Москве.

И старший брат долго и подробно рассказывал, какое незабываемое впечатление произвел на них с женой поход в Большой. А Анастасия качала в согласии головой и поддакивала.

Выпивали за Москву, за культуру. Потом и средний брат делился впечатлениями от поездки в столицу. У его супруги в Москве жила родня, и он и сам себя считал едва ли не столичным жителем, хотя и жил в городке почти безвыездно, а курорты полагал баловством и пустой тратой денег. Однако и он много интересного мог рассказать о культурной жизни Первопрестольной. И рассказывал.

Ну, вот просто как в сказке у них случилось: было у отца три сына –
два брата умных, а третий – Алёшенька. Как-то не задалась судьба. У братьёв и образование, и жены интеллигентные – библиотекарша и бухгалтерша, а у Алёшеньки – простая швея. Да еще куча детей. Да четыре класса образования. Но что интересно, праздники справлять благополучные братья предпочитали у него, у Алёшеньки.
И мать, когда слегла, к старшим братьям не поехала, стала доживать у меньшого.

Да и то сказать, хоть братья и куда как богаче жили, а на столе у Алёшеньки пусто никогда не бывало. Вроде и не было ничего такого, что выставляли братьёвы жены, когда изредка праздновали у старших, ни ветчины, ни вин дорогих; однако селедочка тщательно чищенная с луком, да картошечка разваристая, с маслицем топленым, толкушкой растоптанная, да огурчики-помидорчики, собственноручно женой
заготовленные, да капустка тушеная с мясом, да квашеная, хрусткая с яблочками мочеными, – все не магазинное, все со своего огорода.
А грузди, опять же собственноручно собранные в осенних пригородах, под рюмочку; а пироги под холодное молочко – горячие, пышные, невесомые во рту, да весомые в желудке… Братья ели да нахваливали: эх! как, бывалоча, в родной деревне у маменьки…

Алёшенька любил такие застолья – и разговоры, и дружные песни, и гостей, а больше всего – родню. Он с удовольствием смотрел на братьев и тайно гордился и ими, и их благополучием, и культурой, и умными разговорами про Москву.

Сам-то он в Москве бывал всего два раза. Последний – когда ему неожиданно выделили в профкоме путевку в Судак. Не Сочи, конечно, да еще и в марте, а все ж таки. Тогда у него был почти полный день между поездами, и Москву он посмотрел хорошо. И в трамвае, и в метро покатался, и по улицам побродил, и на ВДНХ побывал, и на Красную площадь, естественно, съездил. Но чем тут похвастаешься.
А первый раз и вовсе… Алёшенька вместе со всеми опрокинул рюмочку прозрачной и вдруг задумался. Да-а-а, тот раз не забудется Алёшеньке, наверное, никогда.

Когда в марте их в подмосковной казарме подняли «в ружье», он и представить себе не мог, что произошло. Да что там, все сначала подумали – учебная тревога. И тут сообщили: Сталин умер! Все завертелось, закрутилась, словно во сне. Красная площадь где-то у Василия Блаженного, траурные ленты на знаменах, оцепление. Несколько суток без передышки, несколько суток волна за волной серые человеческие толпы. Еду им тогда проносили в баках дворами, машине не проехать; спали по очереди в кузовах. Такого моря людей Алёшенька больше никогда в жизни не видел. Порой откуда-то из переулков просачивались небольшие человеческие массы, шли на прорыв оцепления – все хотели попрощаться с товарищем Сталиным. Иногда их разворачивали, иногда пропускали, рассеивая.

В день похорон на их участок вдруг вывалилась огромная толпа. Шла она так мощно и неотвратимо, что сразу стало ясно: не устоять. Как же он тогда испугался! Словно в ступор впал. Люди с безумными глазами наплывали лавой, и Алёшенька понял, что его неминуемо затрет в этом человеческом месиве, размажет по кузову грузовика; понимал, а не мог пошевелить ни рукой ни ногой. Но за секунду до того как лава с мощным «Э-э-ххх!» ударилась о грузовики, он почувствовал, как кто-то подхватил его за ворот шинели и втянул в кузов. По гроб жизни с благодарностью будет вспоминать Алёшенька здоровяка капитана, что спас деревенского ротозея от верной гибели. И тут началось – вопли, женские визги, скрюченные руки, тянущиеся к бортам качающихся машин. На карачках Алёшенька отполз к противоположному борту, перевесился и его вырвало… Сколько же тогда народу покалечило. Да и погибших, говорят, было немало.

Вскоре после этого их сменили, но в казармы не повезли. Велели почиститься, оправиться, построили и повели в Колонный зал – прощаться с вождем. Сколько же там было народу, сколько венков и цветов! Алёшенька, кроме деревенской избы да двухэтажного военкомата в райцентре, и не видел ничего до Москвы, а тут такая красота – люстры, лепнина, украшения! Как он задрал голову на все эти красоты, так с задранной головой до выхода и дошел. Батюшки, а Сталин-то!
И снова пожалел бестолкового парня капитан, разрешил с другой ротой еще раз пройти мимо гроба. Тут уж Алёшенька и самого Сталина разглядел, и плачущего старосту всероссийского – старичка Калинина, и хмурого Хрущева, и Маленкова, ой, да кого там только не было… Люди мимо гроба шли, конечно, хмурые, многие плакали, даже
фронтовики.

Потом привели их в какую-то гостиницу, и тут кто где, кто в холле, кому повезло – в комнатах, а кто и прямо на лестнице, – вповалку повалились и часа три отдыхали. А потом покормили их очень сытно и уж тогда – в казарму. Да уж, было дело…

– Алексей, а ты ведь тоже в Москве бывал, – сказала вдруг жена среднего брата, – понравилась тебе столица?

Алёшенька словно из пруда вынырнул из своих воспоминаний, улыбнулся:

– Как же Москва может не понравиться? Понравилась. Я где только там не был… Там недалеко от Казанского, ну, если из главного входа налево и потом по переулку, отличная закусочная есть, – Алёшенька, уже начиная говорить, понял, что не то говорит, да остановиться уж не мог. – Сосиски там… дешевые, а вкусные…

Гости стушевались, но заулыбались, старший брат загремел бутылкой, разливая по рюмкам. А братьёвы жёны переглянулись иронично –
«Алёшенька», мол…

Пели песни, вспоминали родную деревню, ставили детишек по очереди на табурет – читать стихи, Алешенька играл на гармошке. Разошлись, как всегда, за полночь, когда соседи стали деликатно постукивать по батарее…

Ночью Алёшеньке приснился товарищ Сталин. Он поднялся из гроба, подошел к оробевшему Алёшеньке, положил ему на плечо тяжелую руку и, обращаясь к пришедшим проводить его в последний путь соратникам, сказал:

– Вот на таких простых солдатах держалась и держаться будет наша советская Русь!

И все бурно захлопали.

Алёшенька проснулся с совершенно пересохшим горлом. Он поднялся, на цыпочках прошел на кухню и прямо из-под крана напился ледяной воды. На обратном пути заглянул в комнату к сыновьям. Ребятишки мирно спали, младший, растрюхав губёнки, тихо посапывал и улыбался чему-то во сне. Сердце Алёшеньки наполнилось влажным теплом. Васенька, младшенький, любимый…

**Коротко о любви**

Вася и Тоня жили в общаге. Жили не расписываясь. А зачем? Детей у них пока не было, да не очень и хотелось. Пока молодые, надо погулять. Ну и гуляли. То Вася самогонки из родной деревни привезет, то Тоня водочки с пивком купит с аванса. Не сказать, чтобы уж очень пьянствовали, все же работали оба. Он – дворником, она – продавцом в киоске. На жизнь хватало. Но выходные – святое. Как в выходные не гульнуть? Да что же еще делать? Не книжки же читать, смешно, ей-богу.

Ну, иногда ссорились, дрались даже. Но потом мирились.

Однажды Вася застал Тоню в комнате с чужим мужчиной. Раньше времени с работы вернулся и застал. Мужчину он побил и выгнал, а Тоню стал душить. Очень уж разозлился: мало того что чужого мужика в дом привела, так еще и пила с ним водку, которую они на праздники припасли. Вот это коварство особенно разозлило Васю.

Когда Тоня перестала кричать и дрыгать ногами, Вася оставил ее лежать на полу, а сам сел за стол допивать недопитую праздничную водку. А поскольку с горя он открыл и еще одну бутылку, то когда в комнату вошла милиция, он уже мирно спал.

Отелло из Васи не получился. Тоня оказалась живучей. В больнице ей слепили на шее гипсовый ошейник и сказали, что два пострадавших позвонка заживут через полтора месяца, а пока придется походить так.

Васю продержали в милиции три дня, а потом отпустили под подписку о невыезде. Теперь он каждый день ходит к Тоне в больницу, приносит яблоки и безалкогольное пиво, чешет ей под гипсом шею карандашом. Она его простила. И он ее простил, все-таки они любят друг друга.

**Юра**

Юра влюбился заочно. Влюбился в голос. Кто-то привез из города кассету, Юра послушал, и сердце его сладко заныло. Чистый высокий девичий голос пел песенки на незнакомом языке, и Юре представлялись нездешние, обязательно южные, обязательно солнечные и морские края.

Юра носил кассетник с собой повсюду. Пойдет на двор поросят кормить – кассетник на плечо, и неведомая девушка превращает свинюшек в каких-нибудь капибар; идет за дровами для печки, а вместо петуха попугай кричит с пальмы, печку растапливает, а в треске поленьев голоса южных цикад…

Юра очень хорошо представлял себе неведомую певицу: худенькая, с копной смоляных волос, тонкие руки и ноги, улыбка белозубая на загорелом лице. Маленькая, но голосистая!

Витя мечтал накопить денег и съездить за границу. У них в Березовке еще никто не был. Ну, из оставшихся; из тех-то, что уехали и только навещают иногда своих стариков, уже многие ездили. Рассказывают – заслушаешься. Теперь, говорят, за границу просто, не как при советской власти, были бы деньги. Если бы Юра уехал в свое время в город, может, и он давно бы уж съездил куда-нибудь в Грецию или в Турцию. Да не случилось уехать-то, школу не закончил, вот и приходиться теперь скотником в соседнем селе. Там хоть телевизоры работают, а тут, в Березовке, ни одна антенна не ловит.

Да ничего, Юра еще молодой, всего-то двадцать пять, может, еще и школу закончить удастся, в райцентре раньше вечерняя школа была, может, работает еще… Но сначала денег накопить и за границу съездить. Втайне Юра вдруг поверил, что может там встретить эту худенькую девушку с чистым высоким голосом. А там, вдруг… Юра даже мотал головой и кричал на грязного хряка:

– Чо вылупился, я те поподслушиваю! Ишь, какой…

Конечно, вряд ли, да и кто он такой… А все ж таки отчего бы и не погрезить.

Но закончилось всё страшным разочарованием. Юра даже расхотел ехать за границу и поступать в вечернюю школу. Зачем?! Если всё так…

В общем, приехал погостить одноклассник, привёз, как положено, бутылочку, да не одну. Юра на стол сальца метнул, картошечки, грибков собственноручно собранных и засоленных. Пили, вспоминали школьные проказы. Когда похорошело, Юра затянул:

– Джама-а-айка, Джамайка…

Приятель засмеялся:

– Надо же, чего вспомнил, ностальжи…

Юра не понял, но спросил:

– Как ты думаешь, сколько ей лет?

– Кому ей?

– Ну, ей, которая Джамайку поёт?

– Да эту песню пацан пел когда-то, мальчик – Робертино Лоретти.

– Да нет, погоди! – Юра вскочил, снял с полки кассетник, включил. –
Вот, послушай!

– Ну да, – засмеялся одноклассник, – это мальчишка. То есть это он тогда, лет тридцать назад мальчишкой был, а сейчас уж мужик – старый и толстый, ресторан у него в Италии. А ты думал, баба поёт?

И тут Юра вдруг понял: голос действительно мальчишеский. Невыносимая печаль снизошла на его душу, и он налил себе полный стакан. И выпил. И еще налил…

А утром, когда проснулся с гудящей головой и тоской в душе, вытащил из магнитофона кассету, вышел на крыльцо, размахнулся, зашвырнул кассету в бурьян за забором и пошел кормить свиней.

**Кострыкин и поэзия**

Воскресенье начиналось совсем обычно. За окном утренний зимний сумрак, снег и царапанье голубиных когтей по карнизу. За стеной малолетний сосед по случаю выходного дня и отсутствия родителей врубил что-то рэповое. Кострыкин повалялся в постели, выкурил сигарету и поплелся умываться и чистить зубы. Поедая яичницу, Кострыкин привычно думал: «Зачем живем? К чему стремимся? В чем смысл жизни?» С чашкой чая он присел на подоконник, выглянул в окно своей замызганной хрущобы. В свете разгорающегося дня во дворе скучали заснеженные машины, качели с пушистой шапкой на сиденьях, ранние прохожие семенили по еще не расчищенным дорожкам. Голуби, спугнутые с карниза, перелетели к другим окнам, с надеждой поглядывая на Кострыкина. «Все то же, – думал Кострыкин, – зима, неуют, холод… Как же все это надоело!» Вдруг чашка замерла в его руке, он застыл и закатил глаза. Потом поставил чашку на подоконник, вскочил, подбежал к телефонному столику и схватил блокнот. Снова на секунду замер и быстро принялся писать:

На улице – февраль,

И то же – на душе.

Несветлая пора

Наскучила уже…

Кострыкин вдруг почувствовал необычайный прилив радости. «На улице – февраль, – шептал он медленно и выразительно, – и то же –
на душе…» Ну ведь здорово же? Конечно, здорово. Радость ощущалась так явственно, что ему хотелось запеть, закружиться по комнате. Однако Кострыкин вовремя вспомнил, что ему не то чтобы уже почти сорок, а все же далеко за тридцать, и скакать в трусах по комнате как-то не солидно.

В общем, совершенно обыденно начавшийся день заиграл новыми красками, пообещал что-то новое, что, может быть, круто изменит жизнь.

Не натягивая штанов, он принялся ходить по квартире, пытаясь войти в мелькнувшее состояние вдохновения, принялся бормотать строчку за строчкой, подыскивать рифмы, не выпуская из поля зрения блокнота с первыми строчками. Азарт и вдохновение постепенно таяли, но не таяло, а, пожалуй, и разгоралось жгучее желание написать шедевр.

Однако день перетек за полдень, а дело дальше не сдвигалось, как Кострыкин ни тужился. Но он так сильно хотел вновь испытать это сладкое чувство озарения, вдохновения, что готов был мучиться еще хоть целый час. Да что час – день! И муки творчества поначалу даже показались приятными, ведь муки эти обещали счастливый просверк в сознании, который позволит прибавить к первым четырем строчкам еще четыре, еще, еще, а там, глядишь, и выльется дело в полную поэму! Загрезился Кострыкину лавровый венок, творческое выступление в городской библиотеке, и даже где-то в самом мозжечке шевельнулся крохотный червячок и заскрипел: «Нобелевссская
пррремия…»

Конечно, работал-то Кострыкин рубщиком мяса, ножом и топориком орудовал мастерски, можно сказать, виртуозно, что и позволило ему безбедно пережить страшные девяностые. Но мясо мясом, а душа – душой! Недаром играл когда-то Кострыкин в школьном театре и лучше всех в классе декламировал стихи. Вот оно когда проявилось – неосознанное призвание души! Вот так живешь, живешь, а талант в тебе растет, растет, силу набирает и вдруг – раз! Словно зеленый побег сквозь грубый асфальт – к солнцу, вот он я!

Кострыкину стало страшно, а вдруг росток этот так и не сможет пробить заскорузлый асфальт его мясницкой души! Он еще быстрее забегал по квартире, бормоча совсем уж какую-то несуразицу.

«Нужно расслабиться, – решил он, – отвлечься, не зацикливаться…» Кострыкин быстренько оделся и, стараясь не расплескать в себе еще теплящееся утреннее состояние, отправился к школьному другу Володьке, благо жил тот в соседней хрущобе…

Володька прочитал строчки на вырванном из блокнота листочке и сразу все понял, поставил диагноз и задумался всего на секунду.

– Нужно расслабиться, то есть выпить, – уверенно выдал решение Володька и достал из сливного бачка в туалете спрятанную от жены бутылку. Выпили. Поговорили о юбилейном Гоголе. Выпили еще. Поговорили о Пушкине. Бутылки, как всегда, не хватило, и Кострыкин сбегал. Обсудили проблему: писал Александр Сергеевич срамные стихи или не писал? Решили, что мог и написать. Но мог и не писать. Потом Володька, желая блеснуть познаниями, выудил из памяти интересный факт:

– Между прочим, песню, которую Никита Михалков поет в фильме «Жестокий романс», написал индийский йог Рабиндранат Тагор. Представляешь, индийский йог для наших цыган песни писал!

– Он не йог, – возразил Кострыкин, покопавшись в памяти.

– Йог, – настаивал Володька, – это в книжке «Двенадцать стульев» написано! Сам читал.

– Да нет! – окончательно вспомнил Кострыкин. – Это был сын Рабиндраната Тагора! Сын. И не в «Двенадцати стульях», а в «Золотом теленке».

– Ну, если сын йог, – логично предположил Володька, – то и отец йог, у них там по-другому никак нельзя, там же кастеты. То есть, тьфу –
касты! Уж если ты слесарь, то и детям, и внукам, и правнукам только в слесаря!

Стихи прочитали несколько раз, Володька совершенно не сомневался – талант! Явно! Однозначно! На этот раз в магазин побежал Володька…

Бегали ли еще, что обсуждали, когда и как Кострыкин возвратился домой, он не запомнил. Воскресенье закатилось стремительно.

В понедельник Кострыкин хмуро рубил мясо и мучительно вспоминал, что же это такое было в воскресенье? Что это так обрадовало и взвинтило его? К Володьке идти не было никакой возможности, у того вернулась из поездки в родительскую деревню жена Люська.
А она очень не одобряла, когда Володька с Кострыкинам выпивали больше одной бутылки…

На листочек с четырьмя строчками Кострыкин наткнулся в апреле, когда убирал в шкаф зимнюю куртку. Он прочитал написанное, помолчал, потом мелко-мелко порвал листочек и выбросил его в форточку.
К обрывкам метнулись было обманутые голуби, но тут же опомнились. «Голубей баснями не кормят», – ухмыльнулся Кострыкин. В душе его сладко плавилась печаль. Он знал, что не напишет больше ни одной стихотворной строчки.

**Друзья**

Утром главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью Сидоров вскочил как оглашенный: проспал! Так не хотелось вставать, но бухгалтер по-быстренькому собрался, обжигаясь и давясь, залил в себя стакан горячего чая под бутерброд с копченой колбаской и совсем уж побежал на работу, но тут жена из спальни крикнула:

– У тебя халтура, что ли? Ты надолго?

– Какая халтура, – удивился Сидоров, – планерка через десять минут, опаздываю!

– У вас уже и по воскресеньям планерки? Совсем уж с ума сошли.

– Как по воскресеньям, сегодня разве не понедельник?

– Пить надо меньше! – буркнула из спальни жена, хотя прекрасно знала, что ни вчера, ни позавчера, да и уж недели полторы Сидоров не прикасался, поскольку писал квартальный.

В общем, бухгалтер разделся и снова спать завалился. И приснился ему странный сон. Словами описать трудно – одни чувства. В последнее время частенько стало ему сниться что-то непонятное. Иногда бывает: во сне прямо буря в душе, «Гамлет», а проснешься – чего волновался-то? Непонятно. Вот и сегодня приснилась мысль (вот уже странно – мысль приснилась!): сколько хороших людей ушло и никогда не вернется. Кто умер, кто уехал, с кем-то рассорился.

Уже проснувшись и лежа с открытыми глазами, бухгалтер принялся вызывать в памяти одного за другим всех хороших людей, с которыми сталкивала его жизнь. Во-первых, конечно, родители. Ну, между собой ссорились они жутко. Особенно в последнее время, когда отец, уйдя на пенсию, запил. Но ведь его-то любили. Да к тому же разве виноваты они в том, как сложилась их судьба. Из-за него же и не развелись. Человеком вырастили. С умилением бухгалтер вспоминал, как отец для него, шестилетнего, из обычных досок смастерил настоящие лыжи. На покупные денег не было, так сам сделал и даже концы смог загнуть. И мать отца не бросила, когда тот тяжко заболел, тянула его, беспомощного, до последнего. Может, и умерла раньше времени из-за того… Бабушка с дедушкой… Дед-фронтовик… Учительница математики, прямо классическая, как из анекдота, – Мариванна. Он один из всего класса, наверное, понял тогда ее слова о математике: это целая страна, а циферки – живые, и у каждой своя жизнь. Один плюс два равняется три. Ну, как семья – двое сошлись, и в результате вот он – третий, будущий главный бухгалтер большого предприятия, хоть и ООО. Потом –
Миша. Вытащил его из полыньи. Мог и побояться, но не побоялся. И хоть был старше, а подружились. Очень. А вот судьба развела. Сел Миша за фарцовку, а отсидев, в город не вернулся и пропал из виду.
А за что сидел человек? Купил подешевле, продал подороже – вся страна сейчас так живет. А жизнь человеку поломали… Бухгалтер лежал в постели, слушал, как поднявшаяся жена гремит кастрюльками на кухне, и все вспоминал, вспоминал, и печаль масляно плавала в душе, подступала к глазам солененьким, щекотала в носу.

И вот что еще грустно – с годами новые друзья появляются все реже, все реже с по-настоящему хорошими людьми сталкиваешься. Или сам хуже становишься? Или строже? Или видеть перестаешь? Вот от этого так печально и стало во сне, так тоскливо – хоть плачь. А главное, что делать? Жизнь так устроена, и ничего ты с ней не поделаешь… Судьба людей сводит и разводит, и делает с людьми все, что хочет, как в греческих трагедиях.

После обеда Сидоров нашел в недрах письменного стола коробку со старыми блокнотами и долго листал заскорузлые от долгого недвижного лежания в темноте книжечки. По книжечкам, по записям выходило, что друзей у бухгалтера было немало. И на «А», и на «Б», и на «В» – почти на все буквы. И подходил Сидоров с этими книжечками к телефону, и маялся у телефона, и снова листал блокнотики…

Но так никому и не позвонил.

**Кто-нибудь непременно**

Скользко. Очень скользко. Знал бы – сидел бы дома. Василий Егорович остановился у решетки кованого заборчика, ухватился за завиток и стоял, не решаясь шагнуть. Как еще сюда-то добрел. Не заметил спервоначалу, что асфальт покрылся прозрачным ледком. Не разглядел сослепу. Василий Егорович очень боялся сломать ногу. Особенно бедро. Шейку бедра. Поэтому гулял только с палочкой и очень медленно. Когда шейку бедра сломала его жена… Когда же это было? Год назад? Или пять лет? Что стало со временем, совершенно невозможно понять, когда что было. Жена лежала несколько месяцев. Врачи говорили: какая операция в таком возрасте! И тихонько, чтобы Люся не слышала: готовьтесь, шейка бедра в таком возрасте… И много-
значительно закатывали глаза. А какой возраст, она на пять лет младше Василия Егоровича. Люся все понимала, но улыбалась Василию Егоровичу: ничего, ничего, срастётся. Василий Егорович запирался в ванной, включал воду и рыдал. Он привык к жене и не хотел без неё. Люся умерла месяца через четыре. Так что теперь Василий Егорович
бережется.

Хуже всего в ноябре. То асфальт, то снег, то лёд. А то еще тонкий прозрачный ледок, вот, как сейчас, почти незаметный. Идешь вроде по асфальту, а там лед!

Детей у них с Люсей не было, вот что плохо; и родных не осталось никого на свете. Друзья или поумирали, или вот так же, как он, выбирались иногда в хорошую погоду во двор – прогуляться от перекрестка до перекрестка. Хорошо, что магазин был в соседнем доме. И еще телефон. На телефоне, конечно, приходилось экономить, какая сейчас пенсия. А все ж, когда прижмет сердце, можно дозвониться до «скорой», а если прижмет душу – до знакомых…

Совсем плохо стало, когда перестали приглашать на завод на праздники и юбилеи. Раньше хоть два-три раза в год, а приглашали. Сажали в президиум, давали грамоту, а потом, как положено, за стол. Водочка, бутерброды хорошие, рыба… А теперь что-то совсем не то. Раз летом сам добрался до проходной – не пустили, спросил директора, а директор уж совсем другой; и завод-то, говорят, продали, московским кому-то. Вот времечко настало – целый завод продали, мыслимое ли
дело?!

Что-то совсем перестал Василий Егорович понимать эту жизнь. Ну, как одеваются – это ерунда; молодежь всегда так: чем чудней, тем модней. Сам он, что ли, не распяливал брюки в немыслимый клёш? А вот говорят все больше непонятно; прислушаешься – вроде и по-русски, а ни черта не поймешь. Да…

Ноги озябли. Ходил Василий Егорович в летних полуботинках, а как похолодает, поддевал толстые шерстяные носки. Но весной куда-то спрятал их, да так и не смог вспомнить куда. Можно бы купить новые у бабушек возле магазина, у них не магазинные, сами вяжут, хорошие носки. Но тоже – то забудет, то пенсия кончится.

Вот перчатки попались добротные, подарок. Подарили на заводе, когда еще приглашали, давно, а как новенькие.

Однако нужно было как-то идти, а Василий Егорович все не решался, очень боялся сломать ногу. А если еще и шейку бедра… У Люси был он. А у него никого.

Мимо шли люди – вечер, суббота – кто в магазин, кто в гости, кто так гуляет. Они с Люсей любили гулять; «для моциона», Люся говорила… Машины по улице одна за одной, и все какие-то незнакомые, иномарки. Как там его «Москвичок» в гараже, с лета не ходил. Ноябрь самый противный месяц: ни осень – ни зима, холодно и неуютно. Рука на чугунной завитушке решетки замерзла и, перехватив тросточку, Василий Егорович взялся за решетку другой, не озябшей, рукой.

Он вдруг с тоской почувствовал, что все вокруг не касается его. Как будто его уже и нет. Жизнь вокруг течет сама по себе, а он стоит тут сам по себе, словно выпал из действительности. Вот пройди сейчас кто-нибудь прямо сквозь него, а он и не удивится. Он зябко передернул плечами. Надо идти, но он все никак не мог оторваться от решетки.

– Вам нехорошо?

Василий Егорович вздрогнул. Повернул голову. Девушка. Смотрит, улыбается чуть озабоченно.

– Что-то случилось? Сердце?

– Да вот… – Василий Егорович запнулся. – Скользко.

– Аа. Давайте руку. Ничего, ничего, я не тороплюсь. Вы ведь из тринадцатого? Я в соседнем подъезде живу. Вы не в магазин шли? Нет? Ну, давайте, потихоньку…

Кружка с горячим чаем согревала ладони, телевизор бормотал что-то про погоду, гудели тихонько батареи, тикал будильник, у соседей плакал грудничок. Василий Егорович смотрел в окно. Из черного неба медленно падали снежинки, вокруг дворового фонаря они красиво вихрились в легком хороводе. Во дворе чёрным по белому бегала и гулко лаяла собачонка. С высоты четвертого этажа она казалась таксой. Василий Егорович вспоминал свою прогулку и девушку и думал: «Да нет, все те же люди… Вроде никому и дела до тебя нет… Но кто-нибудь обязательно поможет если что. Обязательно». И от чая, и от урчащей батареи, и еще от чего-то ему становилось тепло…

**Шпион**

И чего это я вдруг вспомнил? Среди ночи. Чего только не всплывет из памяти в бессонницу. Да и вспомнил-то словно в тумане, смутно… Странно как-то… В каком же году это было? И сколько мне было лет? Сталин уже умер? Да умер, а Хрущева еще не сняли. Лет пять, что ли?

Каждое лето родители «ссылали» меня в деревню. Сначала я скучал по городу, а к концу лета плакал, когда приходилось уезжать из дедова дома, от деревенских друзей назад в город.

А случилось тем летом вот что. В августе в деревню раз в неделю стал наезжать тряпичник. Такой нестарый мужик на телеге, которую волокла пожилая лошадь. Мужик собирал всякую ветошь, шкуры, стоптанные сапоги, ржавые сковородки, прогоревшие чайники и прочую дрянь, а взамен давал иногда мелкие деньги, но чаще – яблоки, свистульки, игрушки, хозяйственную мелочь вроде оселков, спичек, мыла, суровых ниток и стекол для керосиновых ламп. Да сейчас молодые-то и не знают, что такое керосиновая лампа, в кино разве что видели…

И вот сижу я как-то вечером с другими ребятишками на крыльце у тети Мани и слышу, как тетя Маня разговаривает с соседками:

– Странный какой-то тряпичник в этом году. В том годе другой был –
старый. А этот молодой; и разговаривает по-городскому. Отчего такой молодой – а тряпичник?

– Вот ить и цену толком не знат! – поддержала её соседка. – Как попало рассчитыват. Неправдашный какой-то.

– Вот и муку обещал привезти, – подхватила еще одна тетка, – я шутя попросила, а он возьми и пообещай. Да разве всем муки навозишься!

– И вот что само-то главно, – тетя Маня понизила голос и недовольно оглянулась на навострившую уши малышню. – Все про город расспрашиват… Все выспрашиват и выспрашиват…

А город – это как раз тот город, где я жил со своими родителями; город был «секретный», окруженный колючей проволокой, вдоль которой ходили солдаты с автоматами и гавкающей остроухой собакой.

Когда мы возвращались из деревни, в воротах солдат с суровым лицом внимательно смотрел то на фотографию отца в пропуске, то на самого отца, а потом переворачивал талон пропуска и строго спрашивал
меня:

– Как тебя зовут, мальчик?

И каждый раз я очень боялся сказать вместо правильного «Саша» – неправильное «Вася» или «Коля». Все в окрестных деревнях знали про секретный город всё – и то, что там огромный подземный завод, что там подземный склад атомных бомб, и что даже аэродром там подземный. Но это свои, советские… А тут…

Сначала соседки долго молчали, раздумывая, а потом одна говорит:

– А когда он обещался-то?

– Дак в эту субботу и обещался. Давайте-ка мы председателю скажем. Как приедет тряпичник, ты, Любаша, попроси его подождать, будто ветошь забыла. Мы его чаем поить станем, а ты в это время за председателем и сбегашь, а он уж сделат что надо.

Три дня я ходил под впечатлением того страшного разговора, шептался с братьями, и мы даже смастерили луки и стрелы, чтобы помочь, если потребуется, председателю с мужиками арестовывать шпиона. Но так долго тянутся летние дни в деревне, и так много неотложных дел и забот. На дальний пруд карасиков половить со старшим братом сходить надо? Надо, когда еще позволит! Новорожденных щенков у Колькиной легавой суки посмотреть надо? Надо! И в картофельный склад, раскрытый на просушку, проникнуть необходимо, поскольку только там можно голыми руками изловить пудика, а потом посадить его за пазуху и слушать, как он там возится, щиплет кожу на животе и чирикает…
В общем, к субботе я про тряпичника забыл!

А субботним вечером в деревне все только и говорили, как бабы у тети Мани в избе шпиона вязали. На закате я сидел на свежем банном срубе на задах бабушкиного дома и, втайне глотая слезы обиды, слушал рассказы очевидцев – тёти Маниных внучков. Слушал настоящую сагу о том, как соседки хитро заманили тряпичника в дом, как председатель замешкался и тряпичник, несмотря на уговоры, а может, и почуяв опасность, собрался уезжать, как бабы набросились на него и связали заранее приготовленными веревками, с помощью которых носят вязанки сена… Как приехали потом военные люди, вызванные председателем по телефону, и забрали связанного тряпичника. А телегу и лошадь оставили в колхозе, только из телеги все переложили в машину-полуторку, даже сено и тряпье…

Потом, гораздо позже, уже когда мне стукнуло лет двадцать, я на каком-то родственном мероприятии – то ли свадьбе, то ли похоронах – спросил тетю Маню, что было с тем тряпичником? Действительно ли он оказался шпионом?

Но тихая, добрая тетя Маня ответила сердито:

– Што ты придумывашь? Какой шпион, эт у тебя детски фантазии каки-то!

Я обиделся, а когда вышел на крыльцо подышать свежим воздухом, вышел вслед за мной дядя Паша – муж тети Мани и, сев рядом на лавочку на том самом крылечке, тихонько сказал:

– Не спрашивай ты ее, не скажет. С них ведь с всех подписку взяли. Разве не понимашь?

И обида сразу прошла, а на душе стало легче…

Когда советские времена закончились, я всё собирался расспросить тетушку про тот случай, да всё забывал и забывал… И вот вдруг среди ночи отчего-то вспомнил. И что интересно, и крыльцо, и соседок, и звуки того вечера, да даже запахи помню ясно, как будто все вчера было, а себя и того тряпичника – смутно, словно в тумане. А, может, и правда ничего не было и всё это детские фантазии?

**Первый футбол**

Ваткин появился в наших краях в середине лета, и спокойное течение довоенной жизни глухой деревеньки сразу же нарушилось. Ваткина прислали из райцентра избачом и учетчиком, и все в деревне сразу почувствовали: этот невысокий, но крепкий и очень подвижный парень спокойно жить не даст.

В избу-читальню, доселе пустовавшую, по вечерам начала набиваться молодежь. Спорили, кричали, пугаясь собственной смелости, хотели ломать церковь, но когда вышли на церковную площадь и увидели стариков и старух с кольём да дубьём, решили повременить.

В первые дни по утрам полдеревни сбегалось к ваткинской избе посмотреть, как тот обливается колодезной водой, а потом делает гимнастику. Гимнастику он делал чудную: ходил колесом, стоял на голове, а в заключение скакал в одних трусах по двору и дико размахивал кулаками. Парням он потом объяснил, что это – английский бокс...

С приездом Ваткина в деревне зазвучало малознакомое слово «комсомол» и появилось новое – «физкультура». Но если в «комсомольцы» шли с опаской (родители не разрешали), то в «физкультурники» гораздо охотнее. Всем хотелось стать такими же ловкими, как Ваткин.

Кульминацией физкультурного движения (а также и его бесславным концом) стал первый в истории Березовки футбольный матч.

О футболе в деревне почти ничего не знали, поэтому поначалу Ваткину пришлось туговато. Большого труда стоило объяснить сапожнику Власу, что такое мяч, еще большего труда стоило убедить игроков не драться за эту круглую штуковину, состряпанную Власом, и не убегать с поля, зажав ее под мышкой.

Парни горячились, забывали правила, не слушали свистка, и, бывало, сам Ваткин отлетал от кучи футболистов, облепивших мяч, отброшенный чьей-то раздраженной рукой.

Тренировки шли целый месяц. И вот, наконец, было объявлено: первая игра состоится тогда-то и тогда-то после пригона стада. Мужики с усмешкой качали головами: «Чем бы дитя ни тешилось...», бабы испуганно толпились по углам: «Чегой-то таперя будет?» Девки со смешками подглядывали из ивняка за футбольным полем, как парни в одних трусах да подштанниках часами, намаявшись до этого в лугах на косьбе, гоняют мяч на последних тренировках.

В день матча над лужайкой, где были поставлены ворота и песком отмечены линии поля, появились флаги и транспаранты «В комсомольском теле – здоровый дух!» и «Наш футбольный ответ акулам империализма!».

Смотреть на футбол идти стеснялись. Баловство! Но как-то так получилось, что «гуляя», «случайно» у поля оказалась почти вся деревня. И когда прозвучал свисток, никто уже не скрывал любопытства. Тем более что был и совершенно конкретный интерес: кто победит – слободские или запрудовские.

Сначала сидели чинно и тихо, но когда слободские вкатили мяч в ворота запрудовских, из зрительских рядов вдруг раздался бас: «Васька, стервец, еще раз пузырь в ворота пропустишь, домой не приходи, выдеру! Не позорь отца...»

Васька косился на отца и прыгал на мяч, набитый опилками и конским волосом, как голодный кот на мышь.

После этого «болеть» стали громче. А к концу тайма, когда счет сравнялся, покрикивать стали даже старушки.

Страсти разгорелись к середине второго тайма. Колька-Большой толкнул вратаря Ваську, а Коля-Маленький в это время загнал в ворота мяч.

– Нечестно! – завопили запрудовские.

– С судьей не спорить! – орал Ваткин, не заметивший маневра Колек.

– Гол, гол! – кричали слободские.

Воспользовавшись заминкой, запрудовский мужик – кузнец Сидор –
выскочил на поле и, злобно пиная мяч, побежал к слободским воротам. Увидев несущегося на него здоровенного разъяренного мужика, слободской вратарь заорал и лег за штангу.

– Го-о-ол! – завопили запрудовские болельщики.

И напрасно надрывался Ваткин, что так нельзя, что гол не засчитан. Кузнец героем возвратился к краю поля, а «игра» каталась гудящим роем уже помимо воли судьи от ворот к воротам.

Счет рос на глазах. 3 : 4, 5 : 6, 11 : 13...

Когда слободские вновь вышли вперед, кузнец опять выбежал на поле и уже не уходил. Тогда и слободские мужики побежали на помощь. Стало тесно. Кто-то кого-то стукнул. Заголосили бабы.

Дрались недолго, но ожесточенно, со вкусом. Победили все же запрудовские. Ваню-Длинного – нападающего слободских – увели с поля со сломанной рукой. Сам Ваткин выдрался из гущи «физкультурников» с разодранными портками и подбитым глазом. В руках он держал кожаный блин, совсем недавно бывший мячом...

...Была уже ночь, когда на поле пришел мужик с топором – отец Вани-Длинного. Он подошел к воротам, выругался, смачно сплюнул и начал с наслаждением рубить штангу.

В футбол потом у нас не играли лет тридцать, но вспоминали частенько – и когда крепких мужиков «раскулачивали», и когда кукурузу сеяли, и когда деревни укрупняли. Кто-нибудь один да скажет: «Заставь дурака богу молиться...» Другой тут же откликнется: «Это как с нашим футболом...»

**Шевелёный**

«Случается на суше и на море, друг Гораций, – написал гений не то английской, не то шотландской драматургии Вильям Шекспир, – что и не снилось нашим мудрецам!»

И это чистая правда! Случается! Такое случается! И мне лично далеко за примером ходить не надо…

В самые рассоветские времена довелось мне работать в самом что ни на есть обыкновенном городском фотоателье. Люди старшего
поколения могут представить его, вспомнив старинный фильм-комедию прошлого века «Зигзаг удачи». Приемщица, три фотографа, пара лаборанток, бухгалтер и директор.

В этом фотоателье все и произошло.

Трудился у нас фотографом степенный человек лет пятидесяти Иван Николаевич с совершенно обычной фамилией Иванов. Столь же обычной, как и фамилия, была и его трудовая, как тогда выражались, биография. После средней школы он окончил техникум бытового обслуживания населения и, получив специальность, принялся неустанно останавливать прекрасные мгновения по заказу советских трудящихся –
на свадьбах, детских утренниках, ёлках, вручениях красных переходящих знамен и других знаменательных событиях. И добился на этом поприще значительных успехов – всевозможных премий, почётных грамот, уважения трудового коллектива и начальства. Был Иван Николаевич человеком вполне интеллигентным и, хотя писал в квитанциях «фото графия на плацмасе», слыл человеком в высшей степени грамотным и авторитетным, тем более что ходил всегда в костюме-тройке и при бабочке. Делая, впрочем, исключения в самые жаркие июльские дни, когда невозможно было дойти от ателье до места съемок, не завернув к квасной бочке или не притормозив у автомата с газированной водой. Нынче таких автоматов не найти уже, наверное, даже на самых забытых складах автоматной техники где-нибудь в Урюпинске или Задонск-Муханске.

С годами, став самым старшим по возрасту и опыту фотографом ателье, он некоторым образом даже вошел в городскую элиту. Его приглашали снимать партконференции, делать портреты для городской Доски почета, на которой, между прочим, со временем появился и его автопортрет, выполненный, как всегда, с большим мастерством; он стоял на майских и ноябрьских трибунах совсем недалеко от высшего городского начальства, а когда в город вдруг ни с того ни с сего нанес визит космонавт не помню с какой фамилией, именно Ивану Николаевичу доверили провести ответственную фотосъёмку (тогда еще модное ныне слово «фотосессия» у нас не бытовало).

И вот у этого передового по всем показателям человека была своя страстишка. Очень любил Иван Николаевич фотографировать похороны. Я вот до сих пор не понимаю (а мне уж годков немало), на кой чёрт нужно снимать мертвого человека в гробу?! А вот поди ж ты, влезь в любую старую коробку из-под ботинок, где пылятся полузабытые семейные фотографии пяти поколений – крестьянских ли, военных или даже номенклатурных, – обязательно наткнешься на снимок: гроб, в гробу суровый человек с закрытыми глазами, а вокруг скорбные родственники.

Однако именно заказ на такую скорбную съемку и был для Ивана Николаевича настоящей отдушиной. Признался он в этом сам на одной из, как бы сейчас сказали, «корпоративных вечеринок», а тогда это была вечерняя пьянка в ателье по случаю Международного женского, кажется, дня.

– И самое главное, – толковал он объясняя свое пристрастие, – обстановка торжественная – раз! Человек лежит не шевелясь – два, и не надо ему сто раз говорить, чтоб не моргал и не задирал шею.

Да к тому же фотографа обязательно приглашали на поминки, а посидеть за столом, да еще в компании степенных людей, да еще бесплатно… Бывало, что Иван Николаевич даже говорил несколько прочувствованных слов в адрес покойного, которого совершенно не знал, но пару раз сталкивался где-нибудь по производственным или иным делам.

И вот с этим обыкновенным человеком по фамилии Иванов приключилась совершенно необыкновенная история. Однажды пригласили Ивана Николаевича на проводы в последний путь первого секретаря горкома партии. Первые секретари горкомов в те времена живали дольше, чем рядовые строители коммунизма, но всё ж таки и они порой уходили туда, где Вечный Коммунизм сиял светлой зарёй человечества.

Все было как всегда; для такого опытного фотографа сделать всю положенную серию снимков не составило никакого труда, а уж поминки превзошли все его ожидания. Плёнки, отснятые на гражданской панихиде, мастер лаборантам ателье не доверил. Сам проявил, сам и заперся в «тёмной комнате» для печатанья фотографий. И вдруг все в ателье обратили внимание на то, что за черной занавесью, скрывающей дверь в лабораторию, – тишина. Это было очень удивительно, поскольку, возясь в лаборатории, Иван Николаевич всегда пел; а с особым во-
одушевлением – после как раз траурных съёмок.

Трудовой коллектив, переглядываясь, подобрался поближе к чёрной занавеске, а вдруг с человеком плохо; но тут занавесь театрально откинулась, и в проеме в ореоле красного света показался сам мастер.
В руках у него была мокрая фотография, а в глазах – ужас.

– Шевелённый, – деревянным языком возвестил он коллективу, протягивая снимок.

– Кто – шевелённый? – спросила приемщица.

– Он, – протягивая снимок, ответил мастер, – покойный – шевеленный.

Снимок пошел по рукам, и у каждого, кто видел изображение, что-то ёкало в груди. На фотографии всё было как надо, всё правильно: красивый гроб на постаменте, партийные товарищи, скорбящие о безвременно покинувшем их руководителе, сам руководитель, солидно сложивший руки на номенклатурном брюшке, все чётко и безупречно резко.

Но. Голова покойного была смазана! Казалось, что он повернул лицо к фотографу, словно бы проверить, правильно ли тот выполняет порученную ему работу.

– Такого быть не может! – категорически заявил директор ателье. – Это ты, Николаевич, принял до поминок и напортачил!

– Ка-а-ак? – страдальчески воскликнул фотомастер. – Как такое можно сделать? Этого даже специально сделать невозможно!

Факт тем не менее был налицо – покойный пошевельнулся!

– А может быть, кто-то за верёвочку дернул, – предположила симпатичная, но глупенькая, это все знали, приёмщица.

– За какую верёвочку?! – схватился за голову директор. – Сколько ты таких кадров сделал?

– Три, – совсем безжизненным голосом ответил Иван Николаевич, – и на всех трёх он шевелённый…

– Надо эту пленку на экспертизу, – влез самый молодой лаборант Вася, – учёным предъявить в Москву, чтоб объяснили феномен…

Уже и не помню сейчас, как тогда вышли из положения – ретушёр ли поправил дело или смастерили коллаж, но положенный комплект фото для горкома сделали, и нареканий не последовало. Плёнку списали как производственный брак, и директор самолично порезал её на мелкие кусочки, так же как и фотографии «шевелённого». Но одну фотографию лаборанту Васе, то есть мне, удалось сохранить. Я часто смотрел на неё, пытаясь постичь феномен, даже увлёкся философией и был уверен, что наступят времена, когда о таких вещах станет можно говорить открыто.

Однако когда такие времена настали, оказалось, что это далеко не самое главное, что может занимать человеческую мысль. Сначала началось ускорение, которое привело к ускоренному исчезновению товаров народного потребления, и в очереди за водкой можно было запросто погибнуть, потом перестали платить зарплату, а все проблемы решались заряженной Аланом Чумаком в трёхлитровой банке водой, потом… Эх, да мало ли…

Одним словом, когда настали более приемлемые для философии времена, фотографию «шевелённого» в многочисленных пакетах со старыми фотографиями я отыскать не смог. О чём сегодня очень и очень горюю. Ведь так обидно, соприкоснувшись с великой тайной природы, с загадочным феноменом, так и остаться в неведении.

Раньше великий русский, а ныне русско-украинский писатель Николай Васильевич Гоголь в одной из своих бессмертных повестей написал не хуже, а я полагаю, что и лучше, чем В. Шекспир: «А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… Ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

Вот именно – редко, но бывают.

Но только гении, осененные свыше, могут просто и откровенно рассказывать нам о таких вещах; человек простой от них теряется и впадает в душевное смятенье…